

Н. П. ЧЕРЕПНИН

# Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

□□□ ЖИЗНЬ И □□□  
ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ  
□□ □□ КООПЕРАТИВНОЕ Т-ВО □□ □□  
«НАЧАТКИ ЗНАНИЙ»  
ПЕТРОГРАД  
1922

**М**не было тогда всего лишь десять лет от роду... но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать лет от роду. Был второй день Светлого праздника—так пишет Достоевский в „Дневнике писателя“ за 1876 год и рисует дикую сцену расправы пьяных каторжников с татаринном, при виде которой ссыльный поляк, товарищ Достоевского по несчастью, сказал ему: „Я ненавижу злых разбойников!“ На Достоевского эта сцена произвела удручающее впечатление. Он вспоминает: „Другой уже день по острогу „шел праздник“, каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особые буйства, собственным судом товарищей и прикрытых на' нарах тулупами, пока оживут и очнутся,—несколько раз уже обнажавшиеся ножи,—все это в два дня праздника до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут на это месте особенно...“ И вот Достоевский забрался на свс нары, притворился спящим, рассчитывая, что „к спящим не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать“, погрузился в воспоминания.

Ему припомнился случай из далекого детства, в д ревне. Гуляя далеко от дома, он забрался в чащу к старников, и вдруг ему померещилось, что кто то кринул: „Волк бежит!“ Вне себя от испуга, мальчик с криком выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика Марея. Это был мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильной проседью в темнорусой бладистой бороде. Он успокоил ребенка.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь. Какому тут волку быть!—бормотал он, ободряя меня. —Ишь, ведь напужался, ай-ай! качал он головой.— Полно родной. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись.

Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали и, кажется, это особенно его поразило. Он притянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивающих моих губ.

Ишь, ведь, ай, улыбнулся он мне какую то материнскою и длинною улыбкой.—Господи, да что это, ишь, ведь, ай, ай!

Я понял, наконец, что волка нет, и что мне крик „волк бежит“ померещился...

— Ну я пойду, сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я те во след посмстрю. Уж я тебя волку не дам! прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. Ну, Христос с тобой, ну ступай, и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился.

Двадцать лет спустя, в Сибири, Достоевский вдруг припомнил всю эту встречу, всю какую то материнскую нежность, проявленную к „барченку“ крепостным мужиком.

„Конечно—пишет Достоевский—всякий бы ободрил ребенка, но тут, в этой уединенной встрече, случилось как бы что то совсем другое, и если бы я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом, а кто его заставлял?... Встреча была уединенною, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какую тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски-невежественного, крепостного мужика, еще и не ждавшего—не гадавшего тогда о свободе“...

Это воспоминание заставило Достоевского взглянуть на буйствовавших каторжников другими глазами. „Каким то чудом исчезли совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, взглядываясь в встретившиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клей-

мами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это то же может быть такой же Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце.“

„Этот отрывок из Дневника“—ключ к пониманию характерных особенностей художественного творчества Достоевского. Из детских лет вынес он веру, что подлинная сущность души простого русского человека легко обнаруживается под налетом привитого варварства и проявляется такими чертами, как „простодушие, чистота, кротость, широкость ума и незлобие.“ Среди душевных страданий и физических лишений на каторге Достоевский не потерял веры в русский народ, наоборот, он укрепился в сознании, что даже в глубине преступной души нередко таятся проблески добрых чувств и настроений. Вера в русский народ, глубокая жалость к несчастным, хотя бы и преступным, вот черты, которые красною нитью проходят чрез творчество Достоевского.

## II.

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября 1821 г. Отец его был штаб-лекарем в Московской Мариинской больнице, и все детские годы Достоевского протекли там. Отец Достоевского занимал скромное место, и ему полагалась казенная квартира всего из двух комнат, передней и кухни. Семья была большая, приходилось перегораживать комнаты, приспособлять их под разное назначение. От передней был отделен перегородкой небольшой полутемный угол, который служил „детской“ для двух старших сыновей—Михаила и Федора, далее шла гостинная, с такой же перегородкой для спальни, и зал—довольно поместительная комната, где проводили большую часть времени все члены семьи; здесь работали, учились, играли, обедали, пили чай.

Однообразно и скромно протекала жизнь в семье Достоевских. Вставали рано, часов в шесть. Отец уходил около восьми часов в больницу, возвращался домой лишь на время утреннего чая, обеда, все остальное время проводя на службе или на практике. Мать

сама вела хозяйство, сама воспитывала детей! Была у них няня Елена Фроловна, сердечный, искренно преданный Достоевским человек. Федор Михайлович сохранил на всю жизнь доброе к ней чувство.

Детей начинали рано учить, четырех лет усаживали за книжку. Отец требовал, чтобы мальчики прилежно занимались, а их манил сад, особенно весной, когда начинали зеленеть деревья, ярко светило солнце и в окна доносилось многочисленное птичье щебетанье... Мать отпускала детей украдкой, в отсутствие отца, в сад, но и там нельзя было резвиться, как хотелось. Было строго запрещено отцом играть в такие игры, как лапта, которая считалась неприличной для хорошо воспитанных детей; нельзя было бегать по траве, лазать по деревьям и проч. Федор Михайлович очень любил заговаривать с больными, прогуливавшимися в том же саду при больнице, особенно интересно было познакомиться с больными мальчиками, но приходилось это делать осторожно, украдкой, так как отец бывал очень недоволен, если узнавал о таком знакомстве. Приходилось чинно прохаживаться с няней по аллеям, или сидеть возле нее на скамейке и наблюдать, как гуляют больные в суконных верблюжьего цвета халатах и в белых колпаках.

По вечерам в летнее время совершали всей семьей прогулку в близь лежащую Марьину Рошу. Выходили из дому часов в 7 вечера, проходили мимо Александровского женского института, где стоял у ворот часовой, ему непременно подавали копейку или грош, причем деньги давали не в руку, а бросали под ноги. Прогулка совершалась весьма чинно, детям не позволяли забегать вперед, или отставать, и отец во все время пути старался вести с ними беседы на полезные для них темы.

Большим событием являлась поездка летом с матерью в Троице-Сергиевскую лавру; отец по служебным обязанностям не мог ездить. Ездили „на долгих“, часами останавливаясь на почтовых станциях. В лавре проводили два-три дня, усердно посещали все церковные службы и, купив игрушек, возвращались в Москву.

Длинные зимние вечера проводились всей семьей вместе; если отец рано оканчивал работу по заполнению скорбных больничных листов, начиналось чтение

еслух. Особую радость доставлял детям приход их бывших кормилиц. Все они были большие мастерицы рассказывать сказки. Вечером, в полутемной комнате, крепко прижавшись друг к другу, жутко и сладостно было слушать бесконечные таинственные, передаваемые полу-шопотом, полные чудес и приключений сказки про Жар-Птицу, Синюю-бороду, про подвиги Алеши-Поповича...

Гости в семье Достоевских бывали редко, в особых случаях, как, например, в именины отца. Этот день праздновался торжественно. Старшие мальчики должны были непременно выучить наизусть, тщательно переписать и преподнести имениннику приветствие на французском языке; отец всегда был этим тронут. К обеду было много посторонних, а когда дети подросли, стали устраивать вечерние приемы с танцами; но никто из мальчиков не любил танцев и относились к ним, как к неприятной обязанности.

За-то те редкие случаи, когда дети попадали на праздниках в театр доставляли им много удовольствия и производили сильное впечатление. Федор Михайлович рассказывал впоследствии, какое неизгладимое впечатление произвел на него, десятилетнего мальчика, спектакль, в котором участвовал известный артист Мочалов; шла драма Шиллера—„Разбойники“. Другой раз дети были на пьесе: „Жако, или Бразильская обезьяна“, и актер, игравший обезьяну, отличался таким замечательным талантом эквилибриста, что Федор Михайлович долго не мог забыть его и пытался ему подражать. Вообще, Достоевский отличался в детстве очень живым, впечатлительным характером; увидя однажды на каком то гулянье бегуна, который за деньги показывал свое искусство, состоявшее в том, что он мог чрезвычайно долго бегать—Достоевский сам пытался овладеть этим искусством, и несколько времени представлял у себя в саду этого бегуна, неутолимо бега по аллеям.

Родители Достоевского отличались большой религиозностью, особенно мать. Каждое воскресенье все дети бывали у обедни, а накануне у всенощной. Также проводились и все большие праздники.

## III.

Достоевскому было десять лет, когда его родители приобрели небольшое имение в Тульской губернии, в 150 верстах от Москвы. С этого времени мать Достоевского каждый год раннею весною переезжала туда с детьми на целое лето. Отец не мог уезжать надолго, и бывал там лишь в середине лета, на несколько дней.

Огромную радость доставляла детям самая поездка. В город прибывали за всей семьей свои же деревенские лошадки с кучером Семеном Широкиным, любителем и знатоком лошадей. Долгие бывали сборы, долго размещались; Федор Михайлович всегда старался усесться с кучером, на облучке. Было радостно вырваться из города и проезжать, не торопясь, через зеленеющие поля, по весеннему шумящий лес, а на многочисленных остановках соскочить, побегать, повертеться у лошадей.

Местность, где находилось имение Достоевских, была очень живописна. Дом был небольшой, мазанковый, всего из трех комнат; он стоял в прекрасной, тенистой липовой роще, а далее шел хороший березовый лес. Федору Михайловичу особенно полюбился этот лесок, так что домашние стали даже называть его „Фединой рощей“, но мать опасалась пускать туда детей, так как ходили слухи, что там, в оврагах, водятся волки.

В деревне начиналась совсем новая жизнь. Здесь было гораздо больше свободы, не было строгого отца, а окружающая обстановка давала простор для детской фантазии и изобретательности.

Мальчишки проводили целые дни на воздухе, прибегая домой лишь на время обеда. Одной из любимых игр в деревне была игра в дикарей. Она состояла в том, что где нибудь в густой чаще липовой рощи строили шалаш, где и скрывались от человеческих взоров. Для большего сходства с дикими, разрисовывали себе тело красками, на манер татуировки, на головы надевали украшения из черных перьев, листьев, веток, вооружались самодельными луками и стрелами. Особый интерес игры заключался в том, чтобы возможно удачнее скрываться от взоров старших, быть

без присмотра, стать возможно ближе к обычаям и жизни диких. Это было довольно трудно выполнить, но в случае успеха доставляло особую радость. Так, однажды, мать Достоевского, желая доставить мальчикам удовольствие, решила не звать их к обеду, и послала им обед в рошу, наказав не разыскивать диких, а поставить гденибудь обед и уйти. Велика была радость диких, во главе с их предводителем Федором Михайловичем, когда они нашли этот обед: тут же было постановлено есть его без ножей и вилок, прямо руками, как приличествует настоящим дикарям.

Играли и в Робинзона, которого изображал Федор Михайлович. Надо было воображать себя на необитаемом острове, подвергать себя всевозможным лишениям.

Особым развлечением для детей было участие в крестьянской работе. Присматривались к быту крестьян, старались понять их интересы, принять участие в крестьянских трудах, помочь им. Федор Михайлович любил разговаривать с крестьянами, научился говорить с ними, и душа простого русского человека стала близкой и понятной ему. Он наблюдал различные типы людей; многие образы, запечатленные в душе Достоевского в детстве, нашли себе впоследствии воплощение в его творчестве. Особенно глубокое впечатление производили на мальчика ходившие в народе рассказы „о мучениках и подвижниках“, о которых Достоевский говорит в своем Дневнике: „я сам в детстве слышал такие рассказы прежде еще, чем научился читать... Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и вздыхали. Эти рассказы передаются не по книгам, а заучились изустно, и они остались у меня в сердце“...

#### IV.

Первоначальное обучение азбуке и письму Достоевский прошел дома. Читать научила его мать; первой книгой для чтения была книжка, под заглавием: „Сто четыре священных истории ветхого и нового завета“; книга была с иллюстрациями, изображающими сово-



рение мира, изгнание из рая Адама и Евы и т. д. Много лет спустя, Достоевскому удалось розыскать эту книжку, по которой он учился,—находка доставила ему искреннюю радость, и он хранил книжку, как дорогую святыню.

Для того, чтобы подготовить старших мальчиков к поступлению в пансион, родители пригласили двух учителей—дьякона, преподававшего Закон Божий в соседнем институте, и преподавателя французского языка в том-же институте. Вот, как вспоминает брат Достоевского об уроках дьякона:

„К его приходу в зале всегда раскидывался ломберный стол, и мы четверо детей помещались за этим столом вместе с преподавателем. Матушка всегда садилась сбоку в стороне и занималась какой нибудь работой. Многих впоследствии имел я законоучителей. Но такого, как отец дьякон не припомню. Он имел отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся часа 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2 проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании св. писания. Бывало, придет, употребит несколько минут на спрос уроков, и сейчас же приступит к рассказам. О потопе, приключениях Иосифа. Рождестве Христове он говорил особенно хорошо...так что, бывало, и матушка, прекратив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевившегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца... Но, несмотря на все это, уроки он требовал заучивать буквально по руководству, не выпуская ни одного слова. Руководством же служили „Начатки“ митрополита Филарета“.

Насколько трудным являлось это руководство для заучивания наизусть, можно судить хотя бы по первым его словам: „Един Бог, во святой Троице поклоняемый, есть вечен, то-есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет“...

Второй преподаватель—Николай Иванович Драшусов занимался с мальчиками французским языком. Когда стало приближаться время поступления их в пансион, родители определили старших своих сыновей в домашний полупансион того-же Драшусова, где он сам продолжал с ними занятия французским языком, а два взрослых его сына обучали математике и сло-

весным наукам. В этом пансионе не было преподавателя латинского языка—обязательного в то время предмета школьного курса, и отец Достоевского сам взялся готовить детей по этому предмету.

Занятия с отцом происходили каждый вечер и очень отличались от уроков других преподавателей. В течение всего урока мальчики не имели права сесть и отвечали все стоя, не смея даже облокотиться на стол. Отец был очень требователен и строг. В доме Достоевских никогда не применяли строгих наказаний,—детей никогда не ставили в угол, или на колени; высшим наказанием для них было недовольство, гнев отца. Отец Достоевского отличался несколько угрюмым, подозрительным характером, был очень нервен, взыскателен и вспыльчив, и уроки нередко заканчивались тем, что отец, вспыхнув при малейшем промахе учеников, рассердится, обзовет их лентяями, тупицами, в крайнем же случае бросит урок, не докончив его, что было хуже всякого наказания.

Строгое, но вместе с тем гуманное отношение к детям родителей Достоевского имело громадное влияние, на духовное развитие детей. Это отношение было причиной того, что родители не отдали своих детей в казенную гимназию, где было обучение гораздо более дешевым, но зато общее настроение, дух школы был совсем иным. Обычным наказанием за проступки там были розги, и не было нравственного воздействия, которое пробуждает сознание, закаляет и укрепляет юные сердца и ум.

Достоевский вместе с братом поступил в частный пансион Леонтия Ивановича Чермака. Владелец пансиона не был хорошо образованным человеком, но отличался большим тактом, умел подобрать очень хороший состав преподавателей, среди которых были даже профессора университета, и создал в своем учебном заведении хороший, здоровый дух семейной атмосферы. Он с большой внимательностью и сердечностью относился к своим ученикам—пансионерам, проводившим у него в пансионе всю неделю и только на праздники уезжавшим к родным. Особым вниманием пользовались те из питомцев пансиона, которые не имели родных и безвыездно оставались в пансионе. Члены семьи директора и учащиеся составляли как бы одну большую

дружную семью. Если ктонибудь из учеников заболел, Чермак говорил: „иди к Августе Францовне“,— и жена его тотчас укладывала больного в постель, заботливо принимала все домашние меры лечения и посылала за врачом. Директор и его семья обедали за одним столом с пансионерами, что тоже создавало домашнюю атмосферу.

Помещался пансион Чермака на Новой Басманной, и братьев Достоевских отвозили туда и обратно на своих лошадях. После недельного пребывания в пансионе было особенно приятно вернуться в родную семью, где с нетерпением каждый раз ждали дорогих гостей.

— „В субботу уже с утра чувствовалось прибытие всей семьи под родной кров“,— вспоминает младший брат Достоевского— и родители делались несколько веселее, и к столу приготавлилось кое-что лишнее, одним словом, пахло чем то праздничным.

В этот день и неизменяемое время обеда—12 часов— поневоле изменялось. Покуда лошади поедут с Божedomки на Басманную, покуда соберутся братья и приедут—проходит добрых полтора-два часа, так что обед подавался в этот день к двум часам... Но вот приехали братья, не успели поздороваться, как и горячее на столе; садимся обедать, и тут же, не удовлетворивши первого аппетита, братья начинают рассказывать о всем, случившемся в продолжение недели. Во-первых отрапортуют правдиво о всех полученных в продолжение недели по различным предметам баллах, а потом и начнутся рассказы про учителей, про различные детские, а иногда и не совсем приличные шалости товарищей. За рассказами и разговорами и обед в этот день продолжался гораздо долее. Родители самодовольно слушали и молчали, давая высказаться приезжим. Можно сказать, что откровенность в рассказах была полная. При рассказах о различных шалостях, случившихся в классе, отец только приговаривал: „ишь шалун, ишь разбойник, ишь негодяй“... смотря по степени шалостей; но ни разу не говаривал: „смотрите, не поступайте-де и вы так“! Этим давалось как бы знать, что отец и ожидать не может от них подобных шалостей. Пообедав и поговорив еще несколько, братья садились за свои ломберные столы и преда-

вались чтению. Я редко видал, чтобы по субботам и воскресеньям братья занимались приготовлением уроков и привозили с собой учебники. Зато книг для чтения привозилось достаточно, так что братья достаточно проводили домашнее время за чтением“...

Отец поручил старшим братьям подготовку младшего брата к поступлению в пансион; на долю Федора Михайловича пало преподавание русского языка и истории. В годы пребывания в пансионе Достоевский с особым усердием и увлечением сам занимался русским языком и литературой, так что выпавшие на его долю предметы как нельзя более соответствовали его настроению и вкусу.

Брат Достоевского недаром отметил в своих воспоминаниях, что его старшие братья много читали во время приездов домой на праздники. Чтение занимало очень существенное и большое место в ученические годы Федора Михайловича. Он читал книги исторического содержания, особенно увлекался путешествиями, мечтал сам побывать в тех местах, о которых читал; знал наизусть почти всего Пушкина, был хорошо знаком с поэзией Жуковского, много читал произведений Вальтер-Скотта. Отец выписывал для сыновей и книжки „Библиотеки для чтения“. Обычай читать по вечерам вслух всей семьей долго сохранялся в семье Достоевских. Читали „Историю Государства Российского“ Карамзина, его-же повести „Бедную Лизу“ и „Марфу Посадницу“, а также „Письма русского путешественника“; повести Пушкина, сказки казака Луганского, романы: „Юрий Милославский“, „Ледяной Дом“, „Стрельцы“ и др.

Родители относились с большой внимательностью к нравственному развитию сыновей. С осторожностью допускали они знакомство с другими семьями. Федор Михайлович очень мечтал иметь настоящего друга, но ему это никак не удавалось. Отец не допускал, чтобы сыновья, полу-взрослые шестнадцатилетние юноши, выходили куданибудь одни; точно также, они не имели никогда своих карманных денег, так как отец находил, что им не на что тратить. И, несмотря на столь строгое, даже суровое воспитание, Достоевский навсегда сохранил горячее, благодарное чувство к отцу и высоко ценил его. Много лет спустя, в разго-

воре с братом, Федор Михайлович говорил о своих родителях:

— „Да, знаешь-ли, брат, ведь это были люди передовые, и в настоящую минуту они были бы передовыми!... А уж такими семьянинами, такими отцами...нам с тобою не быть“.

Начало 1837 года принесло большое горе в семью Достоевских. Мать их с осени сильно хворала, у нее была чахотка, и, несмотря на заботливый уход и внимательное лечение, в феврале 1837 г. умерла.

Со смертью матери оканчиваются светлые годы юности Достоевского. Дальнейшее его учение в Инженерном училище в Петербурге оставило в его душе тяжелое, гнетущее воспоминание на всю жизнь. Много лет спустя, Достоевский писал:

„Весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни. и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающего, молчаливого и дико на все озиравшегося“...

Инженерное училище в те годы, когда учился там Достоевский, не было в состоянии дать своим питомцам настоящее образование, развить и направить их ум, заставить полюбить науку. Все обучение носило показательный, внешний характер. Учились столько, сколько необходимо было для успешной карьеры, стремились не приобрести основательные знания, а нахвататься их, чтобы иметь возможность при случае блеснуть ими.

В школе царил суровый режим. За всякий проступок полагалось телесное наказание, жестокое, бессмысленное, доставлявшее чрезвычайные физические страдания, и еще большие нравственные муки. Убивали тело, убивали живой дух. Заставляли присутствовать при наказании товарища, и эти случаи на всю жизнь оставались в памяти.

„Боже милостивый!“ как изгладить из памяти эту омерзительную, оскорбительную, за сердце хватавшую сцену!“ пишет один из современников Достоевского, присутствовавший на таком наказании.

Чтобы избежать наказания, выслужиться, получить чин—приходилось подслуживаться к начальству, льстить, терпеть унижения. Многие на это шли—избирали этот

легкий, но опасный для юного ума и сердца путь. Другие оставались одинокими, жили замкнуто, сосредоточенно.

Один из воспитателей Достоевского вспоминает, что Федор Михайлович „никогда не принимал участия не только в проделках товарищей, но и в общих любимых играх; никогда не ходил в танц-класс, даже не ходил слушать баллад Жуковского домашнего гудочника, являвшегося по вечерам в рекреационную залу, всегда наполненную воспитанниками училища... Чаще всего Достоевский „сиделся заниматься у своего столика, с огарком сальной свечи, вставленной в жестяной подсвечник. Любимым его местом для занятий была амбразура окна в угловой „круглой камере“ — спальне роты, выходившей на Фонтанку. Случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом него делалось; в известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили рекреационную залу к молитве, снова расходились по комнатам, а Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь можно было заметить Федора Михайловича у столика, сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло; щиты, которые ставились к рамам, нисколько не предохраняли от внешнего холода“...

На замечания воспитателя, что полезнее и здоровее вставать ранее и заниматься с утра, Федор Михайлович говорил, что ночная тишина, полумрак спальни освещаемой сальной свечей, располагают к работе.. Привычка заниматься по ночам сохранилась у Достоевского на всю жизнь.

Но как ни отдалялся Достоевский от повседневной жизни училища, как ни уходил в себя,—эта жизнь все же пред'являла свои требования, и волей неволей приходилось быть свидетелем постоянных тяжелых сцен—насилия, жестокости, измелчания человеческого духа, глубокого нравственного падения.

К этому времени уже умер отец Достоевского; старший брат, с которым Федор Михайлович в детстве был очень дружен, не попал в то же училище, жил з Ре-

веле. Достоевский обладал очень впечатлительной, нервной натурой. Невозможность ни с кем поделиться своими мыслями, чувствами, настроением, впечатлениями все больше и больше содействовала развитию в Достоевском замкнутости, привычки одному переживать, страдать, мучиться. Он долго хранил в душе те тяжелые сцены, которыми был свидетелем в училище, и лишь впоследствии, в своих произведениях, устами своих героев говорил о тех страданиях, какими была отравлена его душа.

В училище научился Достоевский пристально вглядываться в человеческую душу, научился тонко распознавать в этой душе добро и зло, часто сокровенное, приукрашенное. До настоящей, глубинной правды научился он видеть в душе человека, и эта способность заставила его и любить, и страдать за людей, и отворачиваться в то же время от них в бессильной тоске о невозможности исцелить эти несчастные, отравленные души, и вновь идти к ним, с надеждой найти луч света в их душе.

## V.

В 1843 г. Достоевский окончил Инженерное училище и был принят на „действительную службу в инженерный корпус и зачислен при С.-Петербургской инженерной команде с употреблением при чертежной Инженерного департамента“.

Военная служба не удовлетворяла Достоевского, и настолько его тяготила, что в следующем же году он вышел в отставку с целью посвятить себя литературной деятельности.

Писать Достоевский начал еще в училище. Там проводил он многие часы над серьезным изучением литературы, как иностранной, так и русской, там стали ему близки и дороги заветы Пушкина, Гоголя, там почувствовал он свое призвание, много работал, многое задумал, и к 1845 г. у него была вполне закончена первая повесть „Бедные люди“.

Написав свою повесть, Достоевский не знал, что с ней делать;

„Был май месяц 45 года... Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать“— пишет Достоевский в „Дневнике писателя“ много лет спустя: „Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал кроме одной маленькой статейки „Петербургские шарманщики“... Зайдя к нему, он сказал: „принесите рукопись“, (сам он еще не читал ее) „Некрасов хочет в будущему году сборник издать, я ему покажу“.

„Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением и поскорее ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова...

Вечером того же дня, как и тогда, рукопись, я пошел куда то далеко, к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о „Мертвых душах“ и читали их, в который раз не пошню... Воротився я домой уже в четыре часа, в белую, светлую, как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и войдя к себе в квартиру, я спать не мог, отворил окно и сел у окна.

„Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня в совершенном восторге и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: „с десяти страниц видно будет“. Но прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал.

Читает он про смерть студента—передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: „Ах, чтоб его!“ Это две восторга — и так мы всю ночь!“

„Когда они кончили, то в один голос решили идти ко мне немедленно. „Что-же такое, что слитые мы разбудим, это выше сна“!...

„А. Они пробыли тогда у меня с полчаса, в полчаса мы, Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, спорясь, говорили и о поэзии, и о правде, и о другом каком-нибудь положении“.



разумеется, и о Гоголе, цитируя из „Ревизора и из „Мертвых душ“, но главное, о Белинском.

„Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!“ восторженно говорил Некрасов, трясая меня за плечи обеими руками. „Ну теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!“  
„Точно я мог заснуть после них. Какой восторг, какой успех, а главное, чувство было дорого, помню ясно: у иного успех, ну, хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эта прибежали, со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо! Вот, что я думал, какой тут сен!..

...Некрасов снес рукопись Белинскому... „Новый Гоголь явился!“ закричал Некрасов, входя к нему. „Бедными людьми“. „У вас Гоголи-то, как грибы растут“, громко заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, Белинский встретил его „просто в воднении“; приведите, приведите его скорее!

„И вот (это стало быть, третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб: я представлял его себе почему то совсем другим,—„этого ужасного страшного критика“. Он встретил меня чрезвычайно резко и сдержанно

„Что-ж, оно так и надо“,—подумал я, но не прошло, кажется и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить, как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно с горящими глазами

„Да вы понимаете-ли сами то, повторял он мне несколько раз, и вскрикивая по своему обыкновению что вы такое написали!.. Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили-ли вы сами то всю, эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник, ведь он до того заслужился и до того довел себя уж сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за больно

думство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей: он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть „их превосходительство“— не „его превосходительство“, а „их превосходительство“, как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки—да ведь тут уж не сожаление к этому, несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия: Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся раз'яснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтобы самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот гайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена, как художнику, досталась, как дар, цените-же ваш дар и оставайтесь верным и будете великий писателем“...

„Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим... Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей, и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих“...

„Бедные люди“—очень простая, обыкновенная история, рассказанная в форме переписки двух лиц. Макарь Алексеевич Девушкин—мелкий канцелярский чиновник, уже немолодой, всю жизнь борется с горькой повседневной нуждой и страдает от постоянных оскорблений, насмешек, несправедливости. Все честолюбие Девушкина заключается в том, как бы покрасивее переписать бумагу, угодить начальству... Еще немного, и этот человек, такой ограниченный, забитый, приниженный мог бы показаться смешным, неприятным, но под этой непривлекательной, серой, будничной оболочкой бьется прекрасное, благородное сердце. Макарь Алексеевич находит в жизни истинный, высокий

смысл он питает искреннее, бескорыстное, светлое чувство к молодой, одинокой и несчастной девушке, дальней своей родственнице. Он выручает ее из беды, приходит на помощь в самые тяжелые для нее минуты, жертвует для нее последними крохами своего самого ограниченного благополучия. Между ними завязывается неподдельная, хорошая дружба. Это чувство возвышает Девушкина над буднями, его неприглядной жизни; оно светит ему, как светлый луч в темной ночи, согревает его душу, дает ей радость. И за это чувство, за необычайную чуткость и нежность его души по отношению к другу, за то самопожертвование, которое он с радостью, тайно совершает ради нее, за все страдания и радости, которые он переживает по отношению к ней, — легко простить ему уродливость его внешней жизни.

Дружба этих двух несчастных, обездоленных людей так трогательна, так задушевна, и так вместе с тем несложна проста, что захватывает до глубины сердца. Оба полуголодные, одинокие, загнанные — они стараются спасти друг друга, ободрить, помочь забывая себя, свои горести и нужды.

И когда судьба разбивает их дружеское единение, когда Варенька принуждена выйти замуж за человека, который ей совсем не подходит, и уезжает с ним, жутко становится за нее, за ее душевный покой... Никто никогда не будет так глубоко и искренно беречь ее душу, понимать ее, как берег, понимал и любил Макар Алексеевич... А для него с ее отъездом наступает мрак и холод, и впереди ничего нет...

Создавая свою повесть „Бедные люди“, Достоевский пошел по стопам Пушкина и Гоголя, уже создавших литературные произведения, где героями являются маленькие незаметные люди. Но Достоевский хотел изобразить несколько иного человека, чем герой повести „Шинель“. Акакий Акакиевич поглощен заботой о себе самом; он мечтает о новой шинели, как о небывалом, личном комфорте; у него нет никаких духовных интересов, он живет лишь собою и ради себя. Сочувствие к нему читателя носит по преимуществу характер жалости. Читатель испытывает чувство жалости и к несчастной судьбе Акакия Акакиевича и еще больше от мысли, до какого оскудения душевных интересов может

дойти человек, до какой степени может угаснуть в нем годлинно человеческое.

Не то рисует Достоевский. В лице Макара Алексеевича он показывает нам, как много прекрасного, благородного и святого лежит в самой ограниченной человеческой натуре, как трогательно может выявляться все хорошее, что в ней таится.

„Бедные люди“ были напечатаны в 1846 г. и имели шумный успех, сразу доставивший громкое имя молодому автору.

„Честь и слава писал Белинский в своей статье о „Бедных людях“—молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и подвалах, и говорит о них обитателям раззолоченных палат: ведь это тоже люди, ваши братья“!

## VI.

В „Бедных людях“ Достоевского сказалась его боль за несчастных, маленьких людей, ужас пред жизнью, с ее несправедливостями, гнетом унижения человека. Достоевский страдает всем этим, ищет разрешения мучащих его вопросов жизни, не знает, как справиться с ними, где искать спасения от зла и неправды.

А кругом, в русской жизни того времени стояла темная ночь. Это было беспросветно—мрачное время, когда всюду господствовали произвол, насилие, гнет. Россия была сдавлена в тисках власти и силы, надежды было искать правды, суда, защиты, помощи: жизнь человеческую давили жестокость сильных, невежество, зверство. Над крестьянством царило крепостное право, угроза тюрьмы, каторги, кнута, плетей, шпицрутенов и всевозможных видов битья и истязаний, ужасная солдатчина. Всю Россию угнетал сыск, гонение веры, правды, свободы, стон стоял от насилий над русским человеком, над его телом, совестью, мыслью. Вся Россия и в делах, и в мыслях, и в совести своей как бы скована была железными цепями и окутана непроглядной мглой.

Взматриваясь в этот мрак, безнадежно повисший над страной, Достоевский болел за родину. Прозвучал вис-

совался ему, в эту пору его жизни там, где указывали некоторые чуткие люди того времени, сначала кружок Белинского, затем кружок Петрашевского, в который вошел Достоевский.

„Я страстно принял тогда все его учение“ говорил Достоевский о Белинском,—а учение звало прежде всего на борьбу с ближайшим общественным злом того времени—крепостным правом и всем общественно-политическим строем тогдашней России. В крепостном праве видел Достоевский коренное зло русской жизни. Когда однажды спор сошел на вопрос: „Ну, а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как через восстание“? Достоевский воскликнул: „Хотели бы через восстание“...

Между тем в Западной Европе началась горячая критика существующих общественных отношений, сопровождавшихся планами полного их переустройства на новых началах, хотя бы и революционным путем.

Об этом стали толковать и в различных петербургских кружках молодежи. В них начали изучать теорию социализма. Между прочим такой кружок создан был вокруг молодого образованного чиновника Бутаевич-Петрашевского, по имени которого весь кружок получил название петрашевцев.

Петрашевцы не составляли тайного общества и не преследовали определенных революционных целей. Их деятельность ограничивалась пропагандой в беседах социалистических теорий Фурье да разговорами относительно необходимости освобождения крестьян, введения суда присяжных и других реформ, осуществленных впоследствии при Александре II. Это был невинный кружок теоретиков и мечтателей.

Однако правительство, напуганное движением декабристов 1825 г. польским восстанием 1830 г. и западноевропейским революционным движением 1848 года, крайне подозрительно относилось ко всем подобного рода кружкам. В ночь на 22 апреля 1849 года Достоевский был арестован вместе с другими участниками кружка Петрашевского и посажен в одиночное заключение в Петропавловскую крепость. Там он просидел 8 месяцев. Приговор был чрезвычайно суров. Ряд лиц, в том числе и Достоевский, были присуждены к смертной казни только за разговоры и за чтение писем.

Белинского к Гоголю по поводу его „Выбранных мест из переписки с друзьями“, письма, касавшегося, правда, в несколько резкой форме, насущных, кричащих нужд России, неоднократно потом печатавшегося.

Настал день казни. Достоевского, вместе с другими, в 6 часов утра вывезли из крепости на Семеновский плац. Там их вывели на эшафот. „Когда они расставлены были на эшафоте по обеим сторонам, на середину вышел аудитор и прочел приговор. Во время чтения проглянуло солнце, и Федор Михайлович, стоя по-ряди Дурова, сказал ему: „не может быть, чтобы нас казнили“. В ответ на это Дуров указал ему на телегу, на которой, как ему представлялось, положены были гробы, прикрытые рогожей (потом оказалось, что это их арестантское платье). Тут уже, вспоминая Федор Михайлович, не оставалось никакого сомнения. Федору Михайловичу так и врезалось на всю жизнь в сознание столько раз повторенные в роковой бумаге слова: „приговорены к смертной казни, расстрелянием... На смену аудитору взошел на эшафот священник с крестом в руках и пригласил к исповеди.

Появление священника для исповеди, по словам Федора Михайловича, заставило их убедиться в том, что казнь на самом деле будет совершена. Между тем троих уже привязали к столбам. Перед каждым столбом стал офицер с солдатами и были уже произнесены командные слова. Федор Михайлович припоминал потом, что он ощущал только мистический страх, все находилось под влиянием мысли, что через каких-нибудь пять минут перейдет в другую, неизвестную жизнь... Оставалось произнести: „пли“!, и все было бы кончено. Тут махнули платком и казнь была остановлена. Затем было объявлено смягчение приговора. Достоевский был приговорен к каторге.

Жизнь в каторге была очень тяжела для Достоевского. В окопах, за принудительной работой, в постоянном обществе озлобленных каторжан, провел Достоевский четыре года своего заключения. Жизнь на каторге сильно надломил его. Горькая необходимость склоняться перед непреодолимой силой обстоятельств выработала в нем то смирение, какое явилось потом одной из характернейших сторон его мирозерцания. Здесь же развилась его болезнь. Не могло пройти для

него бесследно и четырехлетнее лишение книг. Он читал только евангелие и библию.

Каторга создала внутренний разлад в душе Достоевского. Гордый и самолюбивый, он в униженительно смиренном письме с каторги называет себя „благодетелем“, он надеется достигнуть прощения при помощи патристических стихотворений и т. п. Все это создавало в душе Достоевского тот „надрыв“, ту душевную изломанность, какую он впоследствии выявляет в героях своих произведений.

„Много выстрадал в каторге Достоевский — пишет один из его биографов — много перенес, переболел, передумал, многим перемучился и многое открылось ему. Неотвязные вопросы о смысле жизни, о страшном зле жизни, о том, кто виноват в нем, как спастись от него, пошли за Достоевским в каторгу, томили его здесь в тех глубинах страдания и унижения человеческого, к которым привела каторжная жизнь.“

Чуткий, впечатлительный, пугливый и неугомонный сердцем, беспокойный духом, забирался он здесь в самую темь человеческой души, в мрачные, душные потемки совести заброшенных людей, добирался до скрытых корней человеческих страданий и мучений, окуная в самую глубь жизни, ища разгадки ее тайны, разгадки томящих его, мучительно-изнуряющих вопросов.

О своей жизни в каторге, о том, что нашел там, что видел, чему научился, Достоевский отчасти рассказал впоследствии в своих „Записках из Мертвого Дома“ но только отчасти; всего, что запаало в его душу, он не мог пересказать тут; многое еще родло в его душе и со всей силой и страстью сказались позже, в других его произведениях.

По окончании каторги, в марте 1854 года, Достоевский был зачислен солдатом в седьмой линейный сибирский батальон, а в октябре был произведен в прапорщики. Освобождение из каторги дало Достоевскому возможность вернуться к литературной деятельности. Еще в Сибири им были написаны „Село Степанчиково“ и „Дядюшкин сон“. В Сибири же Достоевский женился. Брак не был счастливым. Жена Достоевского была таким же неуравновешенным человеком, как он сам, и, несмотря на сильную взаимную любовь, они очень

мучили друг друга. Женитьба увеличила расходы Достоевского. Он сильно нуждался, иногда доходя почти до нищеты.

В 1859 году Достоевский получил разрешение выйти в отставку и вернуться в Россию. С этого времени Достоевский всецело отдался литературной деятельности.

В 1864 году умерла от чахотки жена Достоевского. „Она любила меня безпредельно писал после смерти жены Достоевский одному из своих друзей — и я любил ее также без меры, но мы не жили с ней счастливо... Несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастливы (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), мы не могли перестать любить друг друга, даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу“.

Личная жизнь Достоевского после каторги не могла поэтому не содействовать развитию его душевной надломленности. Сильно беспокоили его и постоянные тревоги, как свести концы с концами, постоянное безденежье и, в силу этого, необходимость спешной литературной работы.

В 1861 году Достоевский вместе с братом стал издавать журнал „Время“. Журнал имел успех литературный и материальный, но из-за одной статьи, в сущности совершенно умеренной, был запрещен. Брату Достоевского был разрешен новый журнал — „Эпоха“, но скоро он умер, журнал прекратил своё существование, и на Достоевского легли долги по журналу.

Положение Достоевского в это время было крайне тяжелое. Он только что потерял жену и брата. Одиноким, больной, он переживал состояние, которое, по его словам, стоило каторги. Приходилось писать, не считаясь с силами, здоровьем, душевным настроением. Надо было уплачивать долги, жить самому, содержать семью умершего брата. Можно только недоумевать, как при таких условиях Достоевский мог написать один из лучших своих романов „Преступление и Наказание“.

Временами спешность работы была такова, что Достоевскому приходилось диктовать свои произведения приглашая для этого стенографистку. Так он познакомился с Дниной Григорьевной Сниткиной, на которой в 1867 году и женился. После свадьбы Достоевский



уехали за границу, где ему, чтобы существовать, приходилось писать каждый год по роману:

В 1871 году Достоевский возвратился в Россию. Его материальное положение теперь несколько упрочилось: бедствовать, как прежде, уже не приходилось. Литературная работа принесла Достоевскому известность: давала ему нравственное удовлетворение. Последнее крупное произведение „Братья Карамазовы“ Достоевский писал и печатал в 1879-1880 годах.

## VII.

Свои впечатления от жизни на каторге Достоевский изобразил в произведении „Записки из Мертвого Дома“. Это не роман и не повесть. Больше всего оно напоминает дневник. В лице рассказчика Достоевский вывел себя; многочисленные портреты преступников списаны с живых лиц.

В „Записках из Мертвого Дома“ Достоевский не прикрашивает ни изображаемой им жизни, ни изображаемых лиц. Он рисует все таким, каким оно было в действительности, но не стремится к фотографической точности. Из хранилищ своей памяти он берет то, что необходимо, чтобы создать правдивую и яркую картину жизни „Мертвого Дома“ и обреченных там жить людей.

Мрачные картины проходят перед читателем. „Надобно полагать, говорит автор,—что нет такого преступления, которое не имело бы здесь своего представителя“. Сумрачные, почти всегда молчаливые лица; особая одежда: у одних половина куртки темнобурой, а половина серая, у других вся куртка серая, а рукава темнобурые. Днем на работе; когда смеркалось все вводили в казармы, где запирали на всю ночь в длинных, низких душных комнатах, тускло освещенных сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Для сна — три доски на грязных нарах; щи с огромным количеством тараканов; по ночам азартные игры пьяный арестант, в один праздник пропивающий деньги, накопленные в целые месяцы. Шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и коготь, бритые

головы, клейменные лица; ночью, во сне, говор и бред, в котором слышатся воровские слова, ножи, топоры. Отвращение и ненависть к работе, воровство, шпионство и доносы, беспрестанные наказания, контрабандная торговля вином, ростовщичество „вот узлы страшного семейства“. Здесь собраны пришельцы со всех концов России, поляки, черкесы, татары, старообрядцы, бывшие крестьяне, ремесленники, дворяне, офицеры, люди неграмотные и получившие прекрасное образование, разбойники по натуре и убийцы по ремеслу, и преступники невзначай, и злодеи из фанатизма, и несчастные, которых натолкнул на преступление случай, и страдальцы, виновные только в несходстве своего образа мыслей с убеждениями стоящих у власти.

Среди ожесточенных и окаменелых людей автор „Записок из Мертвого Дома“ рисует и ряд каторжан иного душевного уклада. Таков, напр., стародубовский старик — старообрядец, попавший в каторжную тюрьму за свои религиозные убеждения. На каторгу он смотрит как на мученический венец. Он молится целую ночь по своей старинной рукописной книге, плачет, коллигу про себя прерывает по временам тихими восклицаниями: „Господи, не оставь меня! Господи, укрепи меня! Детушки мои малые, детушки мои милые, никогда то нам не свидеться!“... Таков мягкосердечный, наивный Сироткин. Любимец матери-крестьянки, он прямо из-под теплого домашнего крова попал на военную службу, такую, какой она была еще до реформы Александра II двадцатипятилетнюю, полную формализма и жестокости. Не помирившись с новой своей долей, он пытался застрелиться, а когда это не удалось, с отчаяния, в припадке какого то нравственного исступления, убил своего командира и за это попал на каторгу. Кроткий и тихий, он „глядит как десятилетний ребенок“, который „как заведутся у него деньги, не купит себе чегонибудь необходимого, а купит калачика, и смущает, точно ему семь лет от роду“.

Другого рода человеком был Аким Акимыч. Офицером на Кавказе он с величайшим усердием исполнял обязанности службы, но раз в своем усердии хватил через край расстрелял „мирного“ кавказского

князька, который поджег его крепость. За такое превышение власти он был сослан на каторгу.

Особенно трогательными являются образы молодого дагестанца Алия и чеченца Нурры. Вина Нурры заключалась в том, что принадлежа к числу „мирных“, он переходил к „немирным“ и действовал против русских, которые завоевали Кавказ. Это был рыцарь душой, и его рыцарство поняли и оценили и каторжане. В каторге его все любили. „Он был всегда весел, приветлив ко всем, работал безропотно, спокоен и ясен, хотя часто с негодованием смотрел на гадость и грязь арестантской жизни и возмущался до ярости всяким воровством, мошенничеством, пьянством и вообще-всем, что было нечестно, но ссор не затевал и только отворачивался с негодованием. Сам он во все продолжение своей каторги не украл ничего, не сделал ни одного дурного поступка. Был он чрезвычайно богомолен. Молитвы исполнял свято, в посты перед магометанскими праздниками постился, как фанатик, и целые ночи выстаивал на молитве. В честность его все верили. „Нурра лев, говорили арестанты; так за ним и осталось прозвище льва“.

Такой же был дагестанец Алей, почти еще мальчик. Он очутился в каторге за то, что из уважения к старшим братьям, поехал однажды, по их приказанию, в какую то экспедицию, окончившуюся неожиданно для него разбоем. „Вся душа его выражалась на красивом, можно сказать, даже прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие черные глаза его были так мягки, так „любовны“... Он зачитывается в остроге евангелием.

Автора удивила встреча арестантами праздника Рождества Христова. „Уважение к торжественному дню переходило у арестантов в какую то форменность: немногие гуляли, все были серьезны и как будто чем то заняты, хотя у многих почти совсем не было дела. Но праздные гуляли, стараясь сохранять в себе какую то важность. Смех как будто был запрещен. Вообще настроение дошло до какой то щепетильности и раздраженной нетерпимости, и кто нарушит общий тон, хотя бы невзначай, того осаживали с криком и бранью и сердились на него как будто за неуважение к празднику. Это настроение арестантов было замечательно,

даже трогательно". Кроме врожденного слагования к великому дню, арестант бессознательно ощущал, что он этим соблюдением праздника, как будто соприкасается со всем миром, что не совсем же он стало быть отверженец, погибший человек, ломоть отрезанный"...

Интересна наивная сцена, где арестанты целой артелью с увлечением осматривают Приводимых к продаже для работы в остроге лошадей, польщенные тем, что вот-вот они, точно вольные, точно действительно из своего гармана, покупают себе лошадь и имеют право купить". Полна трогательного юмора картина торжественного шествия на каторжные работы с острожным козлом впереди, где Валька идет разубранный и разукрашенный листками, цветами, гирляндами, а они идут за ним и точно тордятся перед прохожими".

Сурово-драматичен эпизод с раненым орлом, попавшим в плен. Жителям "Мертвого Дома" не удалось сделать его ручным, и было решено выпустить его на волю в степь. „Пусть хотя околеет, да не в остроге; вестимо, птица вольная, суровая, не приучить к острогу то“...

Орла пустили с вала в степь. Холодный осенний ветер свистел в голой пожелтевшей степи. Орел путился прямо, махая большими крыльями и как бы торопясь уходит, куда глаза глядят. Арестанты с любопытством следили, как мелькала в траве его голова.

— Вишь его! — задумчиво проговорил один.

И не оглянулся! — прибавил другой. Ни разу то, братцы, не оглянулся, бежит себе...

— А ты думал, благодарить воротится?

— Знаю дело, воля. Волк почуял.

— Слобода, значит...

— И не видать уж братцы!

Чего стоять-то! Марш! — закричали конвойные, и все молча поплелись на работу".

Нельзя не привести замечания автора: „В остроге было иногда так, что знаешь человека несколько лет и думаешь про него, что это зверь, а не человек, презираешь его. И вдруг приходит случайно минута, в которую душа его невольным порывом открывается наружу, и вы видите в нем такое богатство чувства

сердца, такое яркое понимание и собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в первую минуту даже не верится тому, что вы сами увидели и услышали“...

В конце „Записок из Мертвого Дома“ Достоевский спрашивает: ...„И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать, ведь этот народ необыкновенный был народ, ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват?“

„Записки из Мертвого Дома“ для своего времени имели большое общественное значение: они обратили внимание общества на условия жизни тех людей, которые по разным, иногда случайным, причинам были выброшены из его среды. В этом отношении многое в „Записках из Мертвого Дома“ потом утратило значение. Изменились прежде всего суды, которые с эпохи реформ принимают в соображение мотивы преступления, и потому не посылают на каторгу таких людей, как Алей или Аким Акимыч. Но „Записки из Мертвого Дома“ имеют и иное значение, сохранившееся до нашего времени. Они интересны в литературном отношении, как первая попытка правдиво изобразить душу преступника и показать, что преступники остаются людьми и что они несчастные люди. Взгляд Достоевского на преступника это народный взгляд, взгляд той простой девочки, про которую рассказывает Достоевский, как она побежала за ним, когда он шел с работы и сунула ему в руку копеечку, закричала: „на несчастный!“ (Эту копеечку он долго берет). Это взгляд не только народный, но и христианский. Не даром Л. Н. Толстой писал после смерти Достоевского про „Записки из Мертвого Дома“: „Я не знаю лучше книги во всей новой литературе... не тон, а точка зрения удивительная искренняя, естественная и христианская“.

В „мертвом доме“ Достоевский имел возможность наблюдать и изучать больные и преступные человеческие души. Это наблюдение и изучение имело для него большое значение при создании последующих

его произведений. „В каторге, — пишет один из позднейших критиков, он увидел целый мир, чтобы затем в мире, который открылся пред ним, увидеть на-оргу“.

### VIII.

Наиболее ценными произведениями Достоевского являются его романы. Им он обязан всемирной славой. У всех них есть общие черты, отличающие творчество Достоевского от творчества других как русских, так и иностранных писателей. Главное внимание в своих романах Достоевский обращает на изображение наиболее глубоких и темных переживаний человеческой души. При этом в основе каждого романа лежит выяснение какого либо нравственного вопроса, величайшего значения. Герои романа мучаются этим вопросом, и их мучения, сомнения, душевная тревога, внутренняя борьба, надежды и отчаяние, дерзновение и падения являются содержанием романа. В каждом из романов разыгрывается трагедия человеческой души, мучительно и напряженно борющейся с своими страстями или мучающимися её идеями и, обычно, изнемогающей в непосильной борьбе.

Глубоко проникает Достоевский в тайники человеческой души, туда, где гнездятся необузданные страсти и животные инстинкты человека, в область темного, загадочного, нередко стоящего на грани между нормальной душевной жизнью и душевной болезнью. С поразительной силой рисует Достоевский глубины нравственного падения человека и глубины душевного страдания. Достоевский верит в искупительную силу такого страдания. Отсюда у него и вера в человека, в возможность нравственного возрождения для всякого, даже глубоко павшего.

Типичным образцом романов Достоевского может служить „Преступление и Наказание“.

Велико и разнообразно значение этого романа. Интересный в литературном отношении, он заслуживает особого внимания и в отношении нравственном психологическом, юридическом. Достоевский ставит в нем

важнейшие вопросы нравственных человеческих отношений, рисует глубочайшие тайники человеческой души, затрагивает вопросы юридических отношений между людьми. Интересен роман Достоевского и потому, что в герое его изображены черты русского человека, развившиеся в шестидесятые годы XIX века на почве господствовавших тогда среди молодого поколения политических и общественных учений.

Герой романа — студент Раскольников, Товарищ по университету так характеризует его: „Полтора года я Родиона знаю; угрюм, мрачен, надменен и горд; в последнее время (а может быть, гораздо прежде) мнителен и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать и скорее жестокость сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда впрочем вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен до бесчеловечия, право, точно в нем два противоположных характера поочередно сменяются. Ужасно иногда неразговорчив! все ему некогда, все ему мешают, а сам лежит, ничего не делает. Не насмешлив, и не потому, чтобы остроумия не хватало, а точно времени у него на такие пустяки не хватает. Не дослушивает, что говорят. Никогда не интересуется тем, чем в данную минуту интересуются. Ужасно высоко себя ценит, и кажется, не без некоторого права на то“.

Автор говорит, что „занимается Раскольников усиленно, не жалея себя, и за это его уважали, но никто не любил. Был он очень беден и как то надменно-горд и несообщителен, как будто, что то таил про себя“. Бедность довела его до голода: заставила оставить университет. Ожесточенный и озлобленный, он бросил занятия и замкнулся в себя. Его самлюбие обострилось в гордость, надменность.

Еще раньше в его душе созрела идея, что „люди по закону природы разделяются вообще на два разряда: на высший (обыкновенных)... и собственно на людей; то есть имеющих дар или талант сказать в своей жизни новое слово“. Первые обязаны выполнять веления нравственного закона, вторые, люди выдающиеся, имеют право не выполнять этих велений. Если такому человеку „надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и через гроб, через кровь то,— рассуждает Раскольников,— он внутри себя, по совести, может, по

всему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь"... „Если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия, вследствие какихнибудь комбинаций, никоим образом, не могли бы стать известными людям иначе, как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее, человек, мешавших бы этому открытию, или ставших бы на пути, как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан, *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству"...

Основываясь на подобных произвольных предположениях, Раскольников пришел к выводу о праве „необыкновенных“ людей на преступление. В дальнейшем у Раскольникова, человека талантливой и болезненно-самолюбивой, явилась мысль путем преступления проверить, принадлежит ли он к категории людей „необыкновенных“. Сцепление ряда случайностей толкнуло его на решение действительно совершить преступление. Раскольников обратил внимание на старуху-ростовщицу, которая высасывала последние соки из бедняков, обращавшихся к ней за деньгами в долг. Она — бесполезное и даже вредное существо, и Раскольников решает, что он сделает разумное и полезное дело, если ее убьет и воспользуется ее деньгами, чтобы продолжить свое прерванное образование и делать добро другим. Состояние крайней бедности, в котором Раскольников находился, ужасные картины нищеты, какие он наблюдал кругом, письмо от матери, свидетельствовавшее о тяжелом положении как ее, так и сестры Раскольникова, толкали его осуществить зародившуюся у него идею о преступлении. Голос совести его удерживал. Происходила мучительная борьба. „Господи! — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей... Боже! да неужели ж, неужели ж я, в самом деле, возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп?.. Буду дрожать? прятаться, весь залитый кровью?.. с топором Господи, помилуй!“.

С удивительной психологической наблюдательностью следил Достоевский за происходящей у Раскольникова борьбой между его отвлеченной теорией и его внутренней правдой и глубокой любовью к человеку. Изнемогши в этой борьбе, в момент, когда у него не



было более „ни свободы рассудка, ни воли“, Раскольников убивает старуху ростовщицу, но вместе с тем, из чувства самосохранения, он убивает, сам того не желая, кроткую и ни в чем неповинную Лизавету, родственницу старухи.

Преступление совершилось. За „преступлением“ следует „наказание“. Двойное убийство потрясло душу Раскольникова. Панический страх овладел им. Днями он не воспользовался, их зарыл в каком-то дворе, а затем больной, нравственно-измученный, заперся у себя в комнате, опасаясь, что его уличат и арестуют. Одновременно он испытывал чувство одиночества. Даже самые близкие люди кажутся ему теперь чужими. Он с ужасом чувствовал, что не может радоваться приезду матери и сестры, что ему „преступнику“, трудно с ними, что порвались какие-то связи его с людьми. Все перепуталось в душе Раскольникова. То он доходил до сознания, что сделанное им гадко и низко, то его мучили кошмары, доводившие почти до помешательства, то опять возникало стремление играть роль „героя“. Но чем дальше, тем сильнее мучит Раскольникова мысль, что раз он страдает после совершения преступления, значит он не „великий человек“, которому, по его теории, все дозволено, а жалкая тварь.

Как раз в это время Раскольников отдал все свои деньги осиротевшей семье Мармеладова. Радостью отразилось доброе дело в его душе; он почувствовал, что не навсегда оторвался от людей. „Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке, и не сознавая того, полный, однако, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение“.

Длинным путем идет Раскольников к сознанию своего преступления. С удивительной проникновенностью изображает Достоевский, как постепенно и мучительно доходит Раскольников до признания в преступлении, как душевный перелом, начавшийся с полувынужденного признания, наконец, вырастает на каторге до нравственного возрождения. На этом заканчивается роман, потому что „тут начинается новая история.“

история постепенного обновления человека,—история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неизвестною действительностью“.

„В романе „Преступление и Наказание“;—пишет один из критиков,—нам дано изображение всех тех условий, которые, захватывая душу человеческую, влекут ее к преступлению; видим самое преступление; и тотчас, как совершено оно, с душой преступника мы вступаем в незнакомую нам ранее атмосферу ужаса и мрака, в которой нам почти так же трудно дышать, как и ему. Общий дух романа, неуловимый, неопределимый, еще гораздо замечательнее всех отдельных поразительных его эпизодов: как—это тайна автора—но он, действительно, подносит нам и дает ощутить преступность всеми внутренними фибрами нашего существа; сами мы, ведь, не совершили ничего, и, однако, окончив чтение, точно выходим на воздух из какой то тесной могилы, где были заключены с живым лицом, в ней похоронившим себя, и с ним вместе дышали отравленным воздухом мертвых костей и разлагающихся внутренностей“.

## IX.

Достоевский употребляет своеобразный художественный прием, чтобы читатель ярче и сильнее почувствовал душевную жизнь героев его произведений. Он с особой подробностью изображает тонкие, почти неуловимые переходы в их настроении. Если читателю, кто бы он ни был, случилось когда либо пережить в личной жизни только один из бесчисленных оттенков этих настроений, он, при чтении произведения Достоевского, вновь его переживает, а затем получится так, что следующий момент в настроении героя, всегда неразрывно связанный, как следствие с предыдущим будет поэтому одновременно и переживанием читателя. „Достоевский,—говорит об этом свойстве его таланта один из критиков—захватил сердце читателя и уж не отпустит его, пока не вовлечет в самую глубину настроения героя, не втянет душу в его жизнь.

как водоворот втягивает слабую былинку в омут. Мало по малу личность читателя перевоплощается в личность героя, сознание сливается с его сознанием, страсти делаются его страстями". Пока читаешь книгу Достоевского—нельзя жить отдельною жизнью от главных действующих лиц рассказа: как будто исчезает граница между вымыслом и действительностью. Это больше, чем сочувствие герою, это слияние с ним".

Вот почему при чтении романов Достоевского вдумчивым, чутким и подготовленным читателем испытывается чувство какого то особого мучительного наслаждения, страшного очарования. Если кто, читая произведения Достоевского, не мучается душевными страданиями и переживаниями его героев, так, что они являются точно его личными страданиями и переживаниями, ему не следует читать Достоевского; он недостаточно созрел до этого.

Мучительное настроение создает и другой художественный прием Достоевского— сочетание трогательного и ужасного, мистического и реального. Совпадение мелких случайностей ведет к трагическим последствиям. В романе „Преступление и Наказание“ Раскольников прежде чем решиться на преступление, случайно слышит в трактире разговор двух неизвестных ему людей о старухе ростовщице. В этом разговоре ему точно подсказаны были и план убийства и мотивы к убийству. Затем новая случайность. На Сенной площади, куда он случайно попадает по пути домой, Раскольников из разговора какого то мещанина с Лизаветой, родственницей старухи, узнает, что завтра в седьмом часу старуха будет одна в своей квартире. На следующий день новая случайность. Когда Раскольников у себя в комнате делает последнее приготовление, вешает топор в петлю, пришитую внутри пальто, в этот момент „где то на дворе раздался чей то крик: „семой час давно!“. Роковые случайности увлекают Раскольникова в преступление „точно он попал клочком одежды в колесо машины и его начало в нее втягивать“.

Мистическое и реальное Достоевский намеренно переплетает так, что его герои, а иногда и читатели, нередко с трудом различают, где оканчивается одно и начинается другое. Некоторые лица, впоследствии ока-

зывающиеся реально существующими, впервые появляются так, что кажутся сновидениями или болезненными грезами героя произведения. Раскольников, напр., первоначально мало верит, что одно из действующих лиц романа, Свидригайлов, с которым он встретился, существует в действительности. Раскольников спрашивает своего товарища, студента Разумихина, о Свидригайлове:

— Ты его точно видел? Ясно видел?

— Ну, да, ясно помню; из тысячи узнаю, я память на лица...

— Гм... то-то,—пробормотал Раскольников, а то знаешь... мне подумалось... мне все кажется... что это может быть и фантазия... Может быть я в самом деле помешанный и только призрак видел.

Романы Достоевского обычно носят трагический характер. Этому способствует особый прием его творчества. Он не изображает, подобно Гончарову или Тургеневу, жизнь такую, как ее можно наблюдать в действительности, а берет из жизни не все. Жизнь в целом, в ее будничных потребностях, он мало интересуется. Жизнь его интересует настолько, насколько в ней проявляются сокровенные стороны человеческой души. Достоевский берет исключительно интересную в том или другом психологическом или психопатологическом отношении личность или несколько личностей и ставит их в исключительные положения, которые дают возможность обнаруживаться наиболее странным, затаенным движениям человеческой души, и наблюдает именно эти исключительные положения.

Трагическое впечатление от романов Достоевского усиливается тем, что в них в течение одного дня, иногда нескольких часов, события и катастрофы нагромождаются массажи. „Роман Достоевского, говорит один из критиков,—не спокойный, плавно развивающийся эпос, а собрание пятых актов многих трагедий. Нет медленного развития: все делается почти мгновенно, стремится неудержимо и страстно к одной цели—к концу“.

Большинство русских писателей изображало в своих произведениях картины природы, деревенской жизни, Достоевский особое внимание уделяет городу; в унылых скучных городах он находит особую поэзию,

неразрывно переплетающуюся с жизнью страдающей человеческой души.

Картины городской жизни Достоевский нередко рисует двумя, тремя штрихами, дает не картину, а настроение картины. Он намекает на духоту, пыль, кирпич, известку, леса, на особый запах, присущий Петербургу летом, и получается яркое впечатление большого города летом. В описаниях города у Достоевского есть какое то особое очарование. „Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора... так и сиял и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение... Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина“. Вот другая картина. „Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно зеленые и больные лица; или еще лучше, когда снег мокрый падает совсем прямо без ветру... а сквозь него фонари с газом блистают“...

Иногда в ясный летом вечер у Петербурга бывают как бы минуты умиления, тихой и кроткой задумчивости; в такой именно вечер Раскольников смотрел „на последний розовый отблик заката, на ряд домов, темневший в сгущавшихся сумерках, на одно отдаленное окошко, где то в мансарде, по левой набережной, блиставшее точно в пламени от последнего солнечного луча, ударившего в него на мгновение, на темневшую воду канавы“...

## Х.

В 1868 г. у Достоевского умерла крошка-дочь Соня, которой было всего 3 месяца. В письме к Майкову Федор Михайлович писал:

„Пусть смешна была моя любовь к моему первому дитяти, пусть я смешно выражался об ней во многих письмах многим поздравлявшими меня. Смешон для них был только один я, но вам, вам я не боюсь писать. Это маленькое трехмесячное создание, такое бед

ное, такое крошечное—для меня было уже лицо, характер. Она начинала меня знать, любить и улыбаться, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом начинал петь ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, чтобы только она была жива“...

Безграничная любовь и печаль звучат в этих строках. Достоевский с какой то особой ему только свойственной нежной чуткостью относился к детям. Они занимали большое прочное место в его вечно болеющем, скорбящем сердце. Достоевский не только нежно любил, но и хорошо знал детей, проникновенно понимал их скорби, душевные страдания. Детям посвятил Достоевский многие страницы в своих произведениях. Не радостных, счастливых детей рисует Достоевский. Большинство обрисованных им детей—маленькие неудачники, рано узнавшие и нужду, и побои, и оскорбления, лишенные ласки и заботливого ухода. У них нет беззаботного, ясного детства. Они принуждены разделять заботы, труды и лишения отцов и матерей, думать о куске хлеба.

„Бедны-то они, бедны—Господи, Бог мой! —говорит Макар Алексеевич Деушкин („Бедные люди“) про своих соседей по комнате: „Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живет никто. Даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когданибудь порезвились, поиграли дети, а уж это худой знак“...

Неточка Незванова („Неточка Незванова“) растет в нездоровой обстановке вечно́го разлада между матерью и отчимом. Она постоянно видит и слышит их ссоры, и ее маленькое неопытное сердце не может разобраться в том, где же правда. Она любит мать—несчастную, загнанную судьбою, потерявшую всякую радость и утешение,—но Неточка никогда не видит от матери ласки, которой так жаждет; наоборот, постоянно видит ее беспощадной к отчиму, упрекающей его, строгой, суровой, и Неточка начинает „ужасно бояться матушки и думать, „что и все также бояться

ее. Отчим отгадал жажду ласки у Неточки; она вспоминает, как „батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове, посадил на колени, и я крепко крепко прижалась к груди его; это была, может быть, первая ласка родительская... Я заметила, что заслужила милость отца тем, что за него заступилась. С этой минуты началась во мне какая то безграничная любовь к отцу, но чудная любовь, как будто вовсе не детская“...

Неточка сторонилась матери, была с ней холодна; как будто с чужой, не видела сквозь внешнюю суровость матери ее безграничной, самоотверженной любви. С отцом было ей проще, легче; он и путь ей указал, как доказывать свою любовь, легкий, но опасный путь, который мог совсем исковеркать душу девочки: он учил Неточку обманывать мать, и потихоньку от нее давать ему денег, когда мать посылала за покупкой в лавочку. На счастье Неточки он слишком откровенно обнаружил свою настоящую цель, и Неточка, поняла, что он совсем не любит ее так, как она мечтала, не видит ее любви, не ценит ее, и отошла от него.

Весь облик Неточки, такой задушевный, правдивый, как живой перед нами. С удивительным проникновением нарисовал Достоевский душевный мир своей маленькой героини; но не с меньшим мастерством дан характер и нравственный облик и княжны Кати, в дом родителей которой попадает Неточка после гибели родителей.

Всеобщая любимица, избалованная с колыбели заботами, лаской всех окружающих, Катя привыкла думать, что все создано для ее счастья и благополучия. Она чрезмерно горда, и эта гордость не позволяет ей сразу полюбить Неточку, которую все хвалят за прилежание, скромность, за то, что Неточка всегда послушна. Душевный мир обеих девочек раскрывается перед читателем, обе они, такие различные, с такой любовью и нежностью обрисованы Достоевским, что привлекают к себе, заставляют полюбить себя, с ними вместе страдать и радоваться. И так легко простить Кате все мучения и несправедливости, которыми она терзала Неточку, за тот прекрасный, благородный порыв, выразившийся в искренней, глубокой исповеди

Кати, когда она побеждена великодушным поступком Неточки, принявшей на себя вину Кати.

„Я ведь глупа была, Неточка“, — говорит Катя: „я все зла была на тебя“... Да за что же, недоумевает Неточка. ...„Прежде за то, что ты лучше меня, потом за то, что тебя папа больше любит... Мне очень хотелось любить тебя, а потом вдруг ненавидеть захочется и так ненавижу, так ненавижу... А потом я и увидела, что ты без меня жить не можешь, и думаю: вот уж замучу я ее, скверную... Ну что в тебе есть, что я тебя так полюбила? Ишь, бледная, волосы белокуренькие, сама глупенькая, плакса такая, глаза голубенькие, си...ро...точка ты моя!!!“.

Глубоко трагична судьба Нелли в романе „Униженные и оскорбленные“. Нелли всего 13 лет, но за свою недолгую жизнь она успела увидеть столько горя, столько темных, отрицательных сторон жизни, что Нелли совсем не знает беззаботной доверчивости детей, не знает светлых радостей, не верит людям, сторонится их... Ее маленькая, еще не сложившаяся душа рвется на части. Она безгранично любит свою несчастную, всеми покинутую мать; ради нее, ради ее спасения, она жертвует своей гордостью и идет просить у деда семь гривен на лекарство матери... Великое унижение переживает девочка, когда сумасбродный, суровый озлобленный старик выбрасывает ей на лестницу свои последние гроши... Нелли подбирает их — надо заказать лекарство матери, но потом она идет собирать милостыню, чтобы собрать эти гроши и швырнуть их обратно деду.

И все таки, несмотря на всю тяжесть жизни, на полное отсутствие нравственной поддержки, в Нелли живет хорошая душа — она инстинктом знает, что добро и что зло, и бережет свою душу. Нелли погибает, как нежный цветок, сломленный бурей, но не увядший, не потерявший своей свежести и аромата.

В рассказе „Мальчик у Христа на елке“ Достоевский с трогательной простотой передает чудесный сон несчастного Мальчика, в рождественскую ночь замерзающего на улице.

„О, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он не видал еще таких деревьев (не тем чета, которые он только что видел на улице в окна)! Где это



он теперь: все блестит, все сияет, и кругом все куколки — но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

„Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки?“—спрашивает он, смеясь и любя их.

— „Это — Христова елка“,—отвечают они ему. „У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... Все то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа. и Он сам посреди них, и простирает к ним руки и благословляет их... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо“...

Нежной любовью проникнуто каждое слово, которым Достоевский рисует детей. Но слова становятся беспощадными и грозными, когда Достоевский обличает и обвиняет тех, кто посягает на душу ребенка, или истязает слабое тело его. В „Дневнике Писателя“ много страниц продиктованы негодующим чувством возмущения против жестоких отцов и матерей, проявлявших свои родительские права не в любви и ласке, а в насилии и жестокости.

## XI.

С ранних лет Достоевский с особым благоговением относился к личности Пушкина и его творчеству. Чем дальше, тем это чувство все более усиливалось. Тревожная, мятущаяся душа Достоевского тяготела к спокойному и ясному Пушкину. Пушкин был для Достоевского успокоением, хранителем от тех мучавших его идей и настроений, которые находили себе отражение в его творчестве. Достоевский полагал, что таким хранителем может стать Пушкин и для целых народов, особенно в моменты переживаемых ими великих внутренних тревог и сдвигов.

Особенно ярко выразилось это чувство Достоевского в его речи, произнесенной в 1880 году при открытии в Москве памятника Пушкину. Достоевский превозносил в ней русский народ за его всечеловечность, он говорил о великом предназначении русского народа, состоящем в стремлении к „братству людей, ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению“; он говорил, как это чисто народное стремление выразилось и в типе интеллигента-скитальца, в Алеко, в Онегине, в идеальной русской женщине, в Татьяне; он говорил еще о том, что интеллигентному скитальцу и искателю всечеловеческой правды надлежит теперь смириться перед народом, который эту правду давно знает и, смирившись, потрудиться на народной ниве... „Смирись, гордый человек! Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду!“

Очевидец рисует такую картину. „Как только начал говорить Федор Михайлович, вся зала встрепенулась и затихла... Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине... Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не был его свидетелем. Толпа, давно заразившаяся энтузиазмом... вдруг увидела человека, который сам весь полон энтузиазма, вдруг услышала слово, несомненно достойное восторга, и она захлебнулась от волнения, она ринулась всей душой в восхищение и трепет. Мы тут же все принялись целовать Федора Михайловича; несколько человек стали пробираться из залы на эстраду; какой то юноша, как говорят, когда добрался до Федора Михайловича, упал в обморок“.

Когда эта истерически-сильная, своеобразная, ценная по многим своим идеям, речь появилась в печати, она не произвела такого впечатления, как во время ее произнесения. Многие сильные места, яркие слова и смелые мысли точно потускнели. Сказалось здесь и то, что в этой речи есть некоторая ошибка. Экстаз, призыв к всемирному братству, вопрос об единичной душе человеческой, на замученности которой посмеет ли человечество устроить свое счастье, это не Пушкинское, это не его покой.

После этой речи Достоевский жил всего несколько месяцев. В январе 1881 года он захворал; в ночь на 26 января болезнь осложнилась. Рассказывают, что во все серьезные минуты жизни он имел обыкновение раскрывать на удачу евангелие, которое было с ним в Сибири и читать верхние строки открывшейся страницы. Так он сделал и в день кончины. Открылись слова: „Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко Мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду“. Когда жена прочла эти строки, Достоевский сказал ей: „ты слышишь „не удерживай“; значит я умру. В тот же вечер, 28 января, Достоевский умер. Он умер в полном расцвете своих творческих сил, не успев сказать всего, что он хотел и мог сказать, даже не закончив своего последнего большого произведения „Братья Карамазовы“, которому придают исключительную значительность не только в творчестве Достоевского, но и в истории религиозного и нравственного развития образованной части русского народа. В творчестве Достоевского осталось много недоговоренного и как раз в области разрешения тех особо важных философских и нравственных вопросов, какие он затрагивал в своих произведениях. С полным правом к Достоевскому можно применить его слова о Пушкине: „Он умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем“.

---